

# Заводной апельсин

**Автор:**

[Энтони Бёрджесс](#)

Заводной апельсин

Энтони Бёрджесс

Эксклюзивная классика (АСТ)

«Заводной апельсин» – литературный парадокс XX столетия. Продолжая футуристические традиции в литературе, экспериментируя с языком, на котором говорит рубежное поколение malltshipalltshikov и kisok «надсатых», Энтони Бёрджесс создает роман, признанный классикой современной литературы.

Умный, жестокий, харизматичный антигерой Алекс, лидер уличной банды, проповедуя насилие как высокое искусство жизни, как род наслаждения, попадает в железные тиски новейшей государственной программы по перевоспитанию преступников и сам становится жертвой насилия. Можно ли спасти мир от зла, лишая человека воли совершать поступки и превращая его в «заводной апельсин»? Этот вопрос сегодня актуален так же, как и вчера, и вопрос этот автор задает читателю.

Энтони Бёрджесс

Заводной апельсин

Anthony Burgess

A CLOCKWORK ORANGE

© The Estate of Anthony Burgess, 2011

© Перевод. В. Бошняк, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

## Часть первая

### Глава 1

- Ну, что же теперь, а?

Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, то есть Пит, Джорджик и Тём, причем Тём был и в самом деле парень темный, в смысле glupyi, а сидели мы в молочном баре «Korova», шевеля mozgoi насчет того, куда бы убить вечер – подлый такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Молочный бар «Korova» – это было zavedeniye, где давали «молоко-плюс», хотя вы-то, блин, небось уже и запомнили, что это было за zavedeniye: конечно, нынче ведь все так скоро меняется, забывается прямо на глазах, всем plevatt, даже газет нынче толком никто не читает. В общем, подавали там «молоко-плюс» – то есть молоко плюс кое-какая добавка. Разрешения на торговлю спиртным у них не было, но против того, чтобы подмешивать кое-что из новых shtutshek в доброе старое молоко, закона еще не было, и можно было pitt его с велосетом, дренкромом, а то и еще кое с чем из shtutshek, от которых идет тихий baldiozh и ты минут пятнадцать чувствуешь, что сам господь бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь mozg проскакивают искры и фейерверки. Еще можно было pitt «молоко с ножами», как это у нас называлось, от него шел tortsh и хотелось dratsing, хотелось gasitt кого-нибудь по полной программе, одного всей kodloi, а в тот вечер, с которого я начал свой рассказ, мы как раз это самое и пили.

Карманы у нас ломились от babok, а стало быть, к тому, чтобы сделать в переулке toltshok какому-нибудь старому hanyge, obtriasi его и смотреть, как он

плавает в луже крови, пока мы подсчитываем добычу и делим ее на четверых, ничто нас в общем-то особенно не понуждало, как ничто не понуждало и к тому, чтобы делать krasting в лавке у какой-нибудь трясущейся старой ptitsy, а потом rvatt kogti с содержимым кассы. Однако недаром говорится, что деньги – это еще не все.

Каждый из нас четверых был prikinut по последней моде, что в те времена означало пару черных штанов в облипку со вшитой в шагу железной чашкой, вроде тех, в которых дети пекут из песка куличи, мы ее так песочницей и называли, а пристраивалась она под штаны как для защиты, так и в качестве украшения, которое при определенном освещении довольно ясно вырисовывалось, и вот, стало быть, у меня эта штуковина была в форме паука, у Пита был ruker (рука, значит), Джорджик этакую затейливую раздобыл, в форме tsvetujotshka, а Тём додумался присобачить нечто вовсе паскудное, вроде как бы клоунский morder (лицо, значит), – так ведь с Тёма-то какой спрос, он вообще соображал слабо, как по zhizni, так и вообще, ну, темный, в общем, самый темный из всех нас. Потом полагались еще короткие куртки без лацканов, зато с огромными накладными плечами (s myshtsoi, как это у нас называлось), в которых мы делались похожими на карикатурных силачей из комикса. К этому, блин, полагались еще галстучки, беловатенькие такие, сделанные будто из картофельного пюре с узором, нарисованным вилкой. Волосы мы чересчур длинными не отращивали и башмак носили мощный, типа govnodav, чтобы пинаться.

– Ну, что же теперь, а?

За стойкой рядышком сидели три kisy (девчонки, значит), но нас, ratsanov, было четверо, а у нас ведь как – либо одна на всех, либо по одной каждому. Kisy были прикинута дай бог – в лиловом, оранжевом и зеленом париках, причем каждый тянул никак не меньше чем на трех-или четырехнедельную ее зарплату, да и косметика соответствовала (радуги вокруг glazzjev и широко размалеванный rot). В ту пору носили черные платья, длинные и очень строгие, а на grudiah маленькие серебристые значочки с разными мужскими именами – Джо, Майк и так далее. Считалось, что это malltshiki, с которыми они ложились spatt, когда им было меньше четырнадцати. Они все поглядывали в нашу сторону, и я уже чуть было не сказал (тихонько, разумеется, уголком rta), что не лучше ли троим из нас слегка porezvitssia, а бедняга Тём пусть, дескать, отдохнет, поскольку нам всего-то и проблем, что postavitt ему пол-литра беленького с подмешанной туда на сей раз дозой синтемеска, хотя все-таки это было бы не по-товарищески. С

виду Тём был весьма и весьма отвратен, имя вполне ему подходило, но в mahatshe ему цены не было, особенно liho он пускал в ход govnodavy.

- Ну, что же теперь, а?

Hanurik, сидевший рядом со мной на длинном бархатном сиденье, идущем по трем стенам помещения, был уже в полном otjezde: glazzja остекленевшие, сидит и какую-то murniu бубнит типа «Работы хрюк-хряк Аристотеля брым-дрым становятся основательно офиговательны». Hanurik был уже в порядке, вышел, что называется, на орбиту, а я знал, что это такое, сам не раз пробовал, как и все прочие, но в тот вечер мне вдруг подумалось, что это все-таки подлая shtuka, выход для трусов, блин. Выпьешь это хитрое молочко, свалишься, а в bashke одно: все вокруг bred и hrenovina, и вообще все это уже когда-то было. Видишь все нормально, очень даже ясно видишь – столы, музыкальный автомат, лампы, kisok и malltshikov, – но все это будто где-то вдалеке, в прошлом, а на самом деле ni hrena и нет вовсе. Уставишься при этом на свой башмак или, скажем, на ноготь и смотришь, смотришь, как в трансе, и в то же время чувствуешь, что тебя словно за шкурку взяли и трясут, как котенка. Трясут, пока все из тебя не вы трясут. Твое имя, тело, само твое «я», но тебе plevatt, ты только смотришь и ждешь, пока твой башмак или твой ноготь не начнет желтеть, желтеть, желтеть... Потом перед глазами как пойдет все взрываться – прямо атомная война, – а твой башмак, или ноготь, или там грязь на штанине растет, растет, блин, пухнет, вот уже весь мир, zagaza, заслонила, и тут ты готов уже идти прямо к богу в рай. А возвратишься оттуда раскисшим, хныкающим, morder перекошен – уу-ху-ху-хуууу. Нормально в общем-то, но трусовато как-то. Не для того мы на белый свет попали, чтобы общаться с богом. Такое может все силы из парня высосать, все до капли.

- Ну, что же теперь, а?

Радиола играла вовсю, причем стерео, так что golosnia певца как бы перемещалась из одного угла бара в другой, взлетала к потолку, потом снова падала и отскакивала от стены к стене. Это Берти Ласки наяривал одну старую shtuku под названием «Слупи с меня краску». Одна из трех kisok у стойки, та, что была в зеленом парике, то выпячивала живот, то снова его втягивала в такт тому, что у них называлось музыкой. Я почувствовал, как у меня пошел torsh от ножей в хитром молочишке, и я уже готов был изобразить что-нибудь типа «куча мала». Я заорал «Ноги-ноги-ноги!» как зарезанный, треснул отъ ехавшего hanugu по чану, или, как у нас говорят, v tykvi, но тот даже не почувствовал, продолжая

бормотать про «телефоническую бармахлюндию и грануляндию, которые всегда тыры-дырбум». Когда с небес возвратится, все почувствует, да еще как!

– А куда? – спросил Джорджик.

– Какая разница, – говорю, – там glianem – может, что и подвернется, блин.

В общем, выкатились мы в зимнюю необъятную potsh и пошли сперва по бульвару Марганита, а потом свернули на Бутбай-авеню и там нашли то, что искали, – маленький toltshok, с которого уже можно было начать вечер. Нам попался ободранный stari kashka, немощный такой tshelovek в очках, хватающий разинутым hlebalom холодный ночной воздух. С книгами и задрызганным зонтом под мышкой он вышел из публичной biblio на углу, куда в те времена нормальные люди редко заходили. Да и вообще в те дни солидные, что называется, приличные люди не очень-то разгуливали по улицам после наступления темноты – полиции не хватало, зато повсюду шныряли разбитные malltshipalltshiki вроде нас, так что этот stari профессор был единственным на всей улице прохожим. В общем, podrulivajem к нему, все аккуратно, и я говорю: «Извиняюсь, блин».

Глянул он на нас этак puglovato – еще бы, четверо таких ambalov, да еще откуда ни возмись, да с ухмылочками, но ничего, отвечает. «Я вас слушаю, – говорит, – в чем дело?» Причем этак зычно, учительским тоном: пытается, значит, представить, будто он и не puglyi вовсе. Я говорю:

– Вижу, вот книжонки у тебя под мышкой, блин. Редкостное, можно сказать, удовольствие в наши дни встретить человека, который что-то читает.

– Да ну, – сказал он, весь дрожа. – Неужто? Впрочем, да, да. – А сам все смотрит на нас, на одного, другого, в глаза заглядывает, уже стоя посередине такого улыбчивого аккуратного квадрата.

– Ага, – говорю. – Очень было бы интересно глянуть, блин, если разрешишь, конечно, что это у тебя за книжки такие. Больше всего на свете люблю хорошенькие чистенькие книжки.

– Чистенькие? – удивился он. – Хм, чистенькие. – И тут Пит хватил у него из-под мышки всю его drebedenn и скоренько нам раздал. Каждому по книжке

досталось, кроме Тёма. Та, что оказалась в руках у меня, называлась «Введение в кристаллографию», я раскрыл ее и говорю: «Здо?рово, первый сорт», а сам страницы листаю, листаю. И вдруг говорю таким голосом раздраженным:

– Эт-то еще что такое? Гадкое слово, мне на него и глядеть-то стыдно. Ох, разочаровал ты меня, братец, ох, разочаровал!

– Но где? – засуетился он. – Где? Где?

– Ого, – вступил Джорджик, – вот уж где грязь так грязь! Вот: одно слово на букву «х», а другое на «п». – У него была книга под названием «Загадки и чудеса снежинок».

– Надо же, – присоединился к нам и balbesina Тём, глядя через плечо Пита и, как всегда, perebarstshivaja. – И впрямь, все как по нотам: и чего куда, и на картинке показано. Слушай, – говорит, – да ты же просто грязный kozlina!

– И это в таком почтенном возрасте, ай-яй-яй, – заговорил снова я, принимаясь рвать попавшую мне в руки книгу пополам, а мои друзья занялись тем же с остальными книгами, а особенно старались Тём с Питом, вдвоем справляясь с «Ромбоэдрическими структурами». Stari intell сразу в kritsh: «Они не мои! Хулиганство! Вандализм! Это муниципальная собственность!» – или что-то вроде. Попытался даже вроде как вырвать книги у нас из рук, но это уж вовсе была hohma.

– Что ж, придется тебя, братец, проучить, – сказал я. – Достукался. – Причем оказавшийся у меня в руках учебник был переплетен очень крепко, нелегко было устроить ему razdryzg – еще бы, книга была старая, выпущенная во времена, когда все делали очень добротнo, вроде как не на один день, но я все же выдираю из нее страницы, комкаю и осыпал ими stari kashku, они кружились и летали в воздухе, словно огромные снежинки, при этом мои друзья делали то же самое, и только Тём просто плясал вокруг и кривлялся – клоун и есть клоун.

– Вот тебе, вот тебе, – приговаривал Пит. – Получай под расписку, погань, грязный порнографист!

– Поганое ты otroddje, padla, – сказал я, и начали мы shustritt. Пит держал его за руки, а Джорджик раскрыл ему пошире pastt, чтобы Тёму удобно было выдрать у

него вставные челюсти, верхнюю и нижнюю. Он их швырнул на мостовую, а я поиграл на них в каблучок, хотя тоже довольно крепенькие попались, гады, из какого-то, видимо, новомодного суперпластика. Kashka что-то там нечленораздельное зачмокал – «чак-чук-чок», а Джорджик бросил держать его за gubiohi и сунул ему toltshok кастетом в беззубый rot, отчего kashka взвыл и хлынула кровь, блин, красота, да и только. Ну, а потом мы просто раздели его, сняв все до нижней рубахи и кальсон (staryh-staryh; Тём чуть bashku себе, на них глядя, не othohotal), потом Пит laskovo лягнул его в брюхо, и мы оставили его в покое. На заплетающихся ногах он пошел прочь – мы ему не очень-то сильный toltshok сделали, – только все охал, не понимая, где он и что с ним, а мы похихикали tshutok и прошлись по его карманам, пока Тём выплясывал вокруг с замызганным зонтиком, но в карманах мы мало чего обнаружили. Нашли несколько старых писем, из которых некоторые, написанные еще в шестидесятых, начинались с «милый мой дорогой», и всякой прочей driani, еще нашли связку ключей и старую пачкающуюся авторучку. Старина Тём прервал свою пляску с зонтиком и, конечно же, не выдержал – принялся читать одно из писем вслух, вроде как чтобы показать всей пустой улице, что он умеет читать. «Мой дорогой, – начал он своим писклявым голосом, – пока тебя нет со мной, я буду все время о тебе думать, а ты не забывай, пожалуйста, одевайся потеплее, когда выходишь из дому вечерами». Тут он выдал gromki такой smeh – «ух-ха-ха-ха» – и притворился, будто вытирает этим письмом себе jamu.

– Ну ладно, – сказал я. – Завязываем, блин.

В карманах брюк у stari kashki нашлось немного babok (денег, стало быть) – не больше трех hrustov, так что всю его melotshiovku мы раскидали по улице, потому что все это было курам на смех по сравнению с той капустой, что распирала наши карманы. Потом мы разломали зонтик, всем тряпкам и одежде устроили gatzdryzg и разметали их по ветру, блин, и на том со старым kashkoi-учителем было покончено. Конечно, я понимаю, то был вариант, так сказать, усеченный, но ведь и вечер еще только начинался, так что никаких всяких там извининни-ненний я ни у кого за это не просил. «Молоко с ножами» к тому времени как раз начинало чувствоваться, что называется, budte zdraste.

На очереди стояло сделать смазку, то есть слегка разгрузиться от капусты, тем самым, во-первых, обретя дополнительный стимул, чтобы triahnutt какую-нибудь лавочку, а во-вторых, купив себе заранее алиби, и мы пошли на Эмис-авеню в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк», где не бывало дня, чтобы в закутке не сидели бы три или четыре babusi, lakaja помойное пиво на последние грошовые остатки

своих ГП (государственных пособий). Тут мы уже выступали этакими *rai-malltshikami*, улыбались, делали благовоспитанный *zdrasting*, хотя старые вешалки все равно от страха были в отпаде, их узловатые, перевитые венами *rukery* затряслись, расплескивая пиво из стаканов на пол.

– Оставьте нас в покое, ребятаки, – сказала одна из них, вся такая морщинистая, будто ей тысяча лет, – не трогайте бедных старух. – Но мы только зубами блесь-блесь, расселись, позвонили в звонок и стали ждать, когда придет официант. Он явился, нервно вытирая руки о грязный фартук, и мы заказали себе четыре «Ветерана», а «Ветеран» – это в те времена был такой коктейль очень модный, из рома и шерри-бренди, а еще некоторые любили добавить туда сок лайма – тогда это называлось «канадский вариант». А я и говорю официанту:

– А ну-ка, обслужи *babushek* по полной программе. Всем по двойному виски и еще дай им чего-нибудь взять с собой. – Я вывалил из кармана на стол весь свой запас *deng*, и трое моих друзей сделали то же самое – ох, времена были! В общем, появились на столе у *regeruglyh* старых вешалок стаканы с горючкой, а они сидят ни живы ни мертвы и не знают, чего сказать. Насилу одна из них выдавила: «Спасибо, ребятаки», но по ним было видно: смекнули уже, что тут дело нечисто. Ладно, выдали мы им по бутылке «Янк-Дженерал» – коньяка, значит, причем это уже с собой, а я еще дал *deng*, чтобы им с утречка принесли на дом по дюжине пива, а они, дескать, пусть только свои *voniutshije* адреса рассылному оставят. Потом на оставшуюся капусту мы скупил в *zabegalovke* все пироги, крекеры, бутерброды, чипсы и шоколадки, и все это тоже для старых кочерыжек. Потом говорим: «*Stshias* вернемся», и под бормотанье старых куриц – мол, спасибо, ребятаки, дай бог вам здоровья, мальчики, – мы уже пошли на выход без единого цента *deng* в карманах.

– Ну и ну, прям что в самом деле какие-то мы *dobery*, – сказал Пит. Причем явно наш темный Тём ни в зуб ногой не *vjezzhaejt*, но он помалкивал, чтобы мы не назвали его лишней раз *glupym* и *bezmozglym*. Ну и пошли мы тут же за угол на Эттли-авеню, там в тот час еще работала лавка, где продавали сласти и *tsygarki*. Мы сюда уже месяца три как не заходили, на улице было тихо, пустынно – ни милисентов с автоматами, ни всяких там патрулей ополчения, которые в те дни все больше по ту сторону реки ошивались. Надели мы маски – тогда это было новшество, чудненькие такие, в самом деле *baldiozhno* сделаны в виде лиц всяких исторических персонажей (когда покупаешь, тебе в магазине сразу и фамилию его говорят), так что я был Дизраэли, Пит был Элвис Пресли, Джорджик был Генрих VIII, а Тём был поэт по имени П. Б. Шелли; маски были

просто отпад: волосы и всякое такое, и еще специальная пластмассовая штучка приделана – дернешь, и вся fignia тут же скатывается трубочкой, чтобы, когда дело сделано, спрятать в сапог; в общем, надели и втроем вошли. Пит остался снаружи на striome – не то чтобы это так уж нужно было, просто на всякий rozharni. Очутившись в лавке, мы тут же бросились к Слаузу – он там хозяином был, толстый такой kashka с пивным брюхом, который сразу все ropi и кинулся к себе в контору, где у него был телефон, а может, даже и хорошо смазанная шестизарядная pushka. Тём лихо перемахнул прилавок, взметнув ворох пачек с куревом, которые с треском ударили в большой плакат, на котором какая-то kisa демонстрировала покупателям zuby и grudi для рекламы очередной марки mahry. Все, что можно было vidett потом, это единый ком, в который сплелись старина Тём и Слауз, покотившиеся за штору в подсобку. Потом можно было только slyshatt хрипы и удары за шторой, грохот падения каких-то vestshei, ругань, а потом звон стекол: дзынь-ля-ля! Мамаша Слауз, жена хозяина, так и замерла, словно примерзла к полу за прилавком. Ясно, что, дай ей волю, она сразу подымет kritsh – убивают, мол, и тому подобный kal, поэтому я скоренько заскочил за прилавок, sgrabastal ее и тоже смял в ком, ощутив в ноздрях vonn ее парфюмерии, а под руками ее трясущиеся обвислые grudi. Я зажал ей rot своей grablei, чтобы она не bazlala на весь белый свет о том, что ее грабят и убивают, но эта подлая sumka так укусила меня за ладонь, что я сам испустил дикий kritsh, а потом уже и она завопила на всю вселенную, призывая ментов, то есть милисентов. В общем, пришлось выдать ей toltshok гирей от весов, а потом поработать над ней ломиком, которым они ящики распечатывали, и тут уж она как миленькая заплясала под красным флагом. Повалили мы ее по полу, shmotki, конечно, на ней vrazdryzg, но это уж так, dlia baldy, – и slegontsa попинали govnodavami, чтобы прекратила свой kritsh. А когда я увидел, как она лежит, выкатив наружу grudi, я еще подумал, может, заняться, но нет, это у нас было намечено на потом. Взяли мы кассу – очень, кстати, неплохо pripodnialiss – и с несколькими блоками лучших tsygarok, блин, svalili.

– Ну и тяжелый же хряк-то он оказался, – все повторял Тём.

Вид Тёма мне не понравился: грязный какой-то, взъерошенный, явно после драки, что, конечно, верно, однако истина истиной, а вид будь любезен иметь подобающий. Галстук такой, будто по нему ногами ходили, маска съехала, morder в пыли, и мы втащили Тёма в переулочек, где, пошлюнив платки, tshutok его подправили, убрали кое-какую griazz. Чего не сделаешь ради дружбы! Назад в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк» мы возвратились очень скоро, я по часам проверил: нас не было каких-нибудь минут десять. Престарелые babushki все еще сидели, попивая пиво и виски, которые мы им поставили, и я сказал: «Привет, девочки,

как житуха?» Они опять за свое: «Спасибо, ребятки, дай бог вам здоровья, мальчики», а мы позвонили в kolokol, пришел на сей раз другой официант, и мы заказали пива с ромом – ужасно пить, блин, захотелось; поставили выпивку и старым вешалкам – на их выбор. Потом я сказал babushkam: «Мы ведь никуда отсюда не выходили, правда же? Все время здесь были, верно?» До них все мгновенно doshlo, отвечают:

– Все верно, ребята. Ни на минуту с глаз не отлучались, как бог свят. Благослови вас господь, мальчики. – И снова за стаканы взялись.

Впрочем, это вряд ли было так уж важно. Прошло меньше получаса, прежде чем менты начали проявлять признаки жизни, да и то пришли всего лишь каких-то два молоденьких мусора, все такие розовенькие под shlemami. Один говорит:

– Эй вы, кодла, вы что-нибудь знаете про то, что случилось только что в лавке Слауза?

– Мы? – невинным тоном спрашиваю я. – А что там такое случилось?

– Грабеж, избиение. Двое госпитализированы. А ваша кодла где была нынче вечером?

– Нечего со мной таким тоном разговаривать, – отвечаю. – Я на эти ваши подколки плевать хотел. Мне, блин, вообще не нравится ваша манера общения.

– Эти ребята все время здесь были, – вступились за нас старые veshalki. – Дай бог им здоровья, уж такие парнишки чудные, такие добрые, щедрые! Они все время здесь были, ни на минуту не отлучались. Уж мы-то видели бы, если что не так.

– Мы просто спросили, – примирительно отозвался молоденький мент. – Работа у нас такая, что ж поделаешь. – Однако, уходя, он окинул нас довольно мрачным и подозрительным взглядом. Мы проводили их громким, исполненным на губах, салютом: пыр-дыр-дыр-дыр! Но лично сам я находил события той ночи, да и предыдущих тоже, слегка разочаровывающими. Толком даже и по драться не с кем. Все просто, как поцелуй в яму. Впрочем, вечер был весь еще впереди.

## Глава 2

Выходя из пивной «Дюк-оф-Нью-Йорк», мы сквозь ее широкую витрину zasekli старого hronika, в смысле пьяницу, распевавшего поганые песни своих поганых предков, а в промежутках икавшего и рыгавшего так, будто у него в прогнивших вонючих кишках целый поганый оркестр. Если есть vestsh, которую я не выношу, так это именно такое поведение. Ну не могу я смотреть, когда muzhik грязный, качается, рыгает пьяным своим выхлопом, сколько бы ему лет ни было, однако в особенности когда он такая старая obrazina, как этот. Он стоял, будто влипнув в стену, в жутком и изгвазданном виде – штаны мятые, на них griazz, kal и бог знает что еще. Пришлось за него взяться, пару раз хорошенько vrezatt, но все равно он продолжал горланить. Песня была такая:

Будем вместе мы, моя милая,

Хоть ушла ты далеко.

Но когда Тём сделал ему несколько раз toltshok кулаком по поганым его zubbjam, пьяница петь перестал и заголосил: «Давайте, кончайте меня, трусливые выродки, все равно я не хочу жить, не хочу я жить в таком подлом сволочном мире!» Я велел Тёму слегка tormoznuttsia, потому что иногда мне интересно бывало послушать, что эти старые hanugi имеют сказать насчет жизни и устройства мира. Я сказал: «О! А отчего это мир, по-твоему, такой уж подлый?»

Он выкрикнул: «Это подлый мир, потому что в нем позволяется юнцам вроде вас на стариков нападать и никакого уже ни закона не осталось, ни порядка». Он орал во всю мочь, в такт словам размахивал rukeramі, однако kishki его продолжали изрыгать все те же блыр-длыр, словно у него внутри что-то крутится или будто сидит в нем какой-то настырный и грубый muzhik, который нарочно его zaglushajet, и stari kashke приходится воевать с ним кулаками, продолжая орать: «В этом мире для старого человека нет места, а вас я не боюсь вовсе, потому что я так пьян, что бейте сколько хотите – все равно я боли не почувствую, а убьете, так только рад буду сдохнуть!» Мы похмыкали, похихикали, но ничего ему не отвечали, а он продолжал: «Что это за мир такой, я вас спрашиваю! Человек на Луне, человек вокруг Земли крутится, как эти жуки всякие вокруг лампы, и при этом никакого уважения нет ни к закону, ни к власти. Давайте, делайте, что задумали, хулиганы проклятые, выродки подлые!» И после этого он выдал нам тот же исполненный на губах салют: пыр-дыр-дыр-дыр! – точно такой же, каким мы проводили молоденьких ментов, и тут же снова

запел:

Я за родину кровь проливал

И с победой вернулся домой —

так что пришлось его *slegontsa zagasitt*, что мы и сделали, веселясь и хохоча, но он все равно продолжал горланить. Тогда мы ему так *vrezali*, что он повалился навзничь, выхлестнув целое ведро пивной блевотины. Это было так отвратно, что мы, каждый по разу, пнули его сапогом, и уже не песни и не блевотина, а кровь хлынула из его поганой старой *pasti*. Потом мы отправились своей дорогой.

Только это мы подошли к районной электростанции, как появился Биллибой со своими пятью *koreshami*. Дело тут вот в чем: в те дни, блин, парни ходили больше четверками и пятерками, вроде как автомобильными командами, поскольку четверо – это как раз экипаж для машины, а шестеро – уже вообще верхний предел. Временами несколько таких небольших шаек объединялись в одну большую, чтобы получилось что-то вроде армии для ночного сражения, но чаще всего бывало удобней болтаться по городу мелкими группками. Биллибой меня дико раздражал, до тошноты, я просто видеть не мог его толстый ухмыляющийся *morder*, к тому же от него еще и *vonialo* словно пережаренным жиром, пусть даже он, как в тот раз, был разодет в лучшие *shmotki*. Мы *zasekli* их, они нас, и принялись мы друг за другом по-тихому *nabliudatt*. Тут-то уж дело намечалось стоящее, будь спок: *nozh*, *tsepp*, *britva*, а не какие-нибудь там кулачки с каблучками. Биллибой с *koreshami* *tormoznuliss*, бросив на полпути задуманное – что-то они там такое собирались делать с плачущей *devotshkoi*, которой было лет десять, не больше; она у них уже в *kritsh* пустилась, но платье все еще было на ней, причем Биллибой держал ее за один *ruker*, а его первый друг Лео – за другой. Они, видимо, занимались как раз матерной частью, а к материальной собирались перейти чуть позже. Увидели на подходе нас и тут же *melkuju kisu* отпустили: иди-иди, *hnykalka*, таких, как ты, на пятак ведро, и она бросилась прочь, посверкивая в темноте белизной тощих коленок и продолжая повизгивать: «Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй!» А я – с такой еще улыбкой, широкой, дружеской, – и говорю:

– Кого я вижу! Надо же! Неужто жирный и вонючий, неужто мерзкий наш и подлый Билли-бой, *koziol* и *svolotsh*! Как поживаешь, *kal* в горшке, пузырь с касторкой? А ну, иди сюда, оторву тебе *beitsy*, если они у тебя еще есть, ты

евнух drotshenyi! – И с этого началось.

Нас было четверо против шестерых, хотя это я уже говорил, но зато у нас был balbesina Тём, который, при всей своей тупости, один стоил троих по злости и владению всеми подлыми хитростями драки. У Тёма вокруг пояса была дважды обернута увесистая tsepp, он размотал ее и принялся shurovatt ею у недругов перед глазами. У Пита с Джорджиком были замечательные острые pozhi, я же, в свою очередь, не расставался со своей любимой старой очень-очень опасной britvoi, с которой управлялся в ту пору артистически. И пошла у нас zaruba в потемках – старушка-луна с людьми на ней только-только еще вставала над горизонтом, а звезды посверкивали, будто pozhi, которым тоже хочется vstriatt в наш dratsing. Одному из друзей Биллибоя я ухитрился бритвой вспороть спереди всю одежду, аккуратненький такой razrez сделал, даже не коснувшись под shmotkami тела. В драке этот приятель Биллибоя не сразу обнаружил, что бегаёт весь нараспашку, как лопнувший стручок, сверкая голым животом и болтая beitsami, а когда заметил, вышел из себя настолько, что Тём с легкостью до него добрался – ш-ш-ш-ась его tseppju по glazzjam, и покатился, болезный, кубарем, вопя и завывая. Успех явно сопутствовал нам, и вскоре мы уже взяли главного помощника Биллибоя в каблучки: ослепленный ударом цепи Тёма, он ползал и выл, как животное, но, получив наконец хороший toltshok по tykve, замолк.

Из нас четверых вид, как обычно, хуже всех был у Тёма: лицо в крови, шмотки грязным комом, зато остальные были в полном порядке. Осталось мне только добраться до вонючки Биллибоя, вокруг которого я плясал со своей britvoi в руке, как какой-нибудь корабельный парикмахер в очень бурную погоду, – вот вот porishu его по грязной его поганой hare. У Биллибоя был pozh – длинный такой выдвижной клинок, но он tshutok отставал с ним от событий и особого вреда никому причинить не мог. Да, блин, истинное было для меня наслаждение выплясывать этот вальсок – левая, два-три, правая, два-три – и чиркать его по левой щечке, по правой щечке, чтобы как две кровавые занавески вдруг разом задергивались при свете звезд по обеим сторонам его пакостной жирной физиономии. Вот уже льется кровь, бежит, бежит, но Биллибой явно ни figa не чувствует, по-прежнему топчется со своим дурацким pozhom, как разжиревший voniutshi медведь, а достать меня не может.

Тут слышались сирены – на подходе были менты с «пушками» наготове, выставленными во все окна полицейской машины. Та hnykalka, должно быть, уже projabedala – будка для вызова мусоров была неподалеку, сразу за районной электроподстанцией.

– Ладно, не бое?сь, – крикнул я напоследок, – koziol вонючий. Я тебе еще beitsy поотрезаю.

С тем они и побежали прочь – все, кроме главного их molotily по имени Лео, который посапывал, лежа на земле, – медленно, отдуваясь, побежали они к северу, в сторону реки, а мы пошли в противоположном направлении. Как раз за следующим поворотом обнаружился переулочек, пустой и темный и с обоих концов открытый для отхода, и там мы передохнули, сперва быстро-быстро хватая воздух, потом все спокойнее и наконец стали дышать нормально. Было это подобно отдыху между подножиями двух ужасающих огромных гор, чьи роли отводились двум многоквартирным корпусам, во всех окнах которых плясали быстрые голубоватые сполохи. Все смотрели telik. В тот день происходило то, что у них называлось всемирным вещанием, – одну и ту же программу передавали по всему миру, кому угодно, а угодно главным образом бывало людишкам средних лет и среднего достатка. Выступал обычно либо какой-нибудь дурацкий знаменитый клоун, либо певец-негр, и всю эту volynku ловили в космосе специальные телевизионные спутники и отбрасывали обратно на Землю. Подождали мы, попыхтели, слышим – менты с сиренами катят на восток, – ну, все, значит, пронесло, как говорится. Один balbesina Тём не радовался, все глядел вверх на звезды, на планеты, на Луну эту самую, причем с таким открытым rotom, будто он ребенок и никогда ничего подобного прежде не видывал; глядел-глядел, да и выдал:

– Интересно, есть там на них что-нибудь? Вообще, что там наверху может быть?

Я сильно ткнул ему в бок, сказав:

– Ну ты, глупый ubliudok! Не твоего ума дело. Скорей всего там такая же zhiznn, как здесь: одни режут, а другие подставляют брюхо под pozh. А сейчас, пока еще не вечер, пойдём-ка, блин, дальше.

Ребята посмеялись, но balbesina Тём поглядел на меня серьезно, а потом снова уставился на звезды и на Луну. И мы пошли по переулочку дальше, под голубоватыми сполохами этого самого всемирного вещания с обеих сторон. Теперь нам требовалось заполучить машину, и мы, выйдя из переулочка, свернули влево, где раскинулась площадь. Пристли-плейс, как мы определили по сразу же бросившейся в глаза большой бронзовой статуе какого-то старого поэта с обезьяньей верхней губой и всунутой в немощный дряхлый rot трубой. Шагая к северу, мы вышли к старому замызганному Фильмодрому – облупившейся

развалюхе, пришедшей в полный упадок, потому что туда ходили разве что malltshiki вроде меня и моих дружков, да и то лишь для того, чтобы сделать кому-нибудь toltshok или razrez либо заняться в темноте добрым старым sunnvynn. Судя по закрывавшему фасад Фильмодрома рекламному щиту, где, кроме всего прочего, имелось два-три засиженных мухами кадра из предлагавшейся картины, фильм, по обыкновению, был ковбойским боевиком, причем на стороне шерифа там, естественно, дерутся сплошные ангелы, которые со страшной силой лупят из револьверов по мерзавцам противникам – этакая долбежно-напыщенная vestsh, из тех, что, по милости «Госфильма», во множестве наводняли в те времена экраны. Машины, припаркованные у киношки, в большинстве своем были, прямо скажем, не подарок, дряхлые и разболтанные, однако одна была поновее – «дюранго» 95-го года, и я решил, что эта подойдет. У Джорджика на связке с ключами имелись и отмычки, дубль-дизель, как они тогда назывались, и вскоре мы были уже в машине – Тём с Питом сели сзади, начальственно попыхивая tsygarkami, а я включил зажигание, завел, и машина недурственно затарахтела, пробуждая в кишках приятное такое, теплое трепетанье. Ногу на педаль, со стоянки задним ходом, и понеслась – только нас и видели.

Мы немножко покрутились по задворкам, на переходах распугивая stari kashek и babushek, зигзагами гоняясь за кошками и так далее. Потом мы свернули к западу. Движения на дороге было немного, и я знай себе давил педаль до упора, так что «дюранго» заглатывал дорогу, как спагетти. Вскоре мимо побежали зимние деревья, стало темно, как бывает только за городом, а в одном месте я переехал что-то большое, с ощеренным зубастым rotom, мелькнувшим в свете фар, после чего это что-то заверещало, хрустнув под колесами, и старина Тём на заднем сиденье чуть себе bashku напрочь не отхохотал. Потом попался нам молоденький парнишка, который obzhimalsia со своей подружкой под деревом, мы остановились, поулюлюкали tshutok, потом немножко их для порядку potuzili, дождались, когда они поднимут kritsh, и уехали. У нас была задумана операция «незванный гость». Вот где можно будет от души повеселиться, размять кости и robestshinstvovatt. Наконец приехали в какой-то поселок, на краю которого был маленький коттеджик – торчит себе на отшибе, и маленький садик при нем. Луна стояла уже высоко, коттеджик виднелся очень явственно, я подкатил, поставил машину на тормоз и, покуда остальные трое хихикали, как bezumni, я разглядел на воротах надпись «ДОМ» – мрачноватое, надо сказать, название для усадьбы. Я вышел из машины, приказав koresham вести себя потише и притвориться серьезными, потом открыл калитку и подошел к двери. Вежливо и тихонько постучал, но никто не появился, тогда я постучал tshutok сильнее, и на этот раз услышал, что кто-то подошел, щелкнул замок, дверь на дюйм-другой

приотворилась, вижу, смотрит на меня glaz, а дверь на цепочке. «Да? Кто там?» По голосу женщина, скорее даже kisa, поэтому я заговорил очень вежливо, тоном настоящего джентльмена:

– Пардон, мадам, простите, что побеспокоил, но мы вот гуляли тут с приятелем, и вдруг с ним что-то такое произошло, по-моему, с ним плохо, он там на дороге – упал и лежит, стонет и встать не может. Не будете ли так добры, не позволите ли мне воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать «скорую»?

– У нас нет телефона, – сказала kisa. – Сожалею, но телефона у нас нет. Придется вам зайти к кому-нибудь другому. – А изнутри коттеджика все «тра-та-та» да «тра-та-та» – кто-то на машинке печатает, и вдруг машинка смолкла и донесся мужской голос:

– Дорогая, что там стряслось?

– Гм, – начал я по новой, – не будете ли вы так добры, не пустите ли его выпить стакан воды? С ним, похоже, обморок, понимаете? Похоже, он отключился, вроде как в обморок выпал.

Девушка чуть поколебалась и говорит: «Подождите-ка». После чего куда-то пошла, а трое моих дружков тихонько вылезли из машины, крадучись подобрались поближе, на ходу надевая маски, я свою тоже надел, а шаловливую ручонку шасть в щель, цепочку-то и скинул – kisu я своим приличным голосом так umaslil, что, уходя, она дверь не заперла снова, как это подобает, когда имеешь дело с подозрительными типами вроде нас, да еще ночью. Вчетвером мы с ревом ворвались; Тём, как всегда, прыгал и выплясывал, изрыгая грязнейшую брань, а коттеджик маленький был, это уж точно. Мы с хохотом ввалились в комнату, где горел свет, а там эта kisa вся съежилась – а так из себя ничего вообще, симпатичная, и grudi что надо, а рядом с ней ее muzh, тоже такой довольно-таки моложавый tshelovek в больших очках, а на столе пишущая машинка, везде разные бумаги разбросаны и одна стопочка у машинки – ее он, видимо, только что напечатал, так что перед нами, стало быть, опять intell, книжник наподобие того, с которым мы пошустрили пару часов назад, только на сей раз это был не читатель, а писатель. В общем, он говорит:

– Что такое? Кто вы? Как вы смеете врваться без разрешения в мой дом? – А у самого и голос дрожит, и руки тоже. А я ему в ответ:

– Не бое?сь. Пусть страх покинет твое сердце, брат мой, забудь о нем и не трясись от страха никогда. – Тем временем Джорджик и Пит отправились искать кухню, а старина Тём стоял рядом со мной, разинув рот, и ждал приказаний. – Кстати, что это такое? – сказал я, берясь за стопку напечатанных листочков на столе, а очкастый muzh в крайнем смятении отвечает:

– Вот именно, я у вас хотел бы спросить: что это такое? Что вам нужно? Убирайтесь вон, пока я вас отсюда не вышвырнул! – Старина Тём под маской П.Б. Шелли прямо так и зашелся от хохота, заревел, как медведь.

– Это какая-то книга, – сказал я. – Похоже, вы книжку какую-то пишете! – Говоря это, я сделал свой голос хриплым и дрожащим. – С самого детства я преклоняюсь перед этими, которые книжки писать могут. – Потом я поглядел на верхнюю страницу с заглавием – «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» – и говорю: – Фу, до чего глупое название. Слыханное дело – заводной апельсин? – А потом зачитал немножко оттуда громким и высоким таким голосом, как у святоши: «Эта попытка навлечь на человека, существо естественное и склонное к доброте, всем существом своим тянущееся к устам господу, попытка навлечь на него законы и установления, свойственные лишь миру механизмов, и заставляет меня взяться за перо, единственное мое оружие...» – Тут Тём произвел губами все ту же музыку – пыр-дыр-дыр-дыр, а я не выдержал и усмехнулся. Потом я начал рвать страницы, разбрасывая обрывки по всему полу, а этот самый muzh-писатель, как bezumni, кинулся на меня, ощерив стиснутые желтоватые zubbjа и выставив вперед руки, как лапы с когтями. Стало быть, настала очередь Тёма, который ослабил и, повторяя «э-э-э», а затем «во-во-во», принялся расшибать inteliu hlebalo – хрясь, хрясь, с левой, с правой, так что из бедняги потекло что-то красное, вроде вина, снова того же самого вина, что и везде, словно им снабжает нас какая-то единственная всеобщая корпорация, – потекло, капая на чистенький новый ковер и на обрывки книжки, которую я продолжал неумоимо раздирать – razdryzg! razdryzg! Все это время kisa, эта его любящая верная жена, стояла, замерев, у камина и сперва вообще будто окаменела, а потом принялась испускать malennkije kritshki, словно аккомпанируя работе кулаков Тёма. Потом из кухни появились Джорджик с Питом, что-то дожевывая, однако все-таки в масках – в этих масках можно было даже есть, и ничего страшного, причем Джорджик держал в одной grable копченый окорок или что-то вроде, в другой краюху хлеба со здоровенным шматом масла, а Пит побалтывал в бутылке пиво, держа в другой руке изрядный кусище торта. «Ха-ха-ха», – загоготали они оба, видя, как Тём, пританцовывая, лупит писателя, и наконец тот взвыл, зарыдав что-то типа того, будто рушится дело всей его жизни, заухал чего-то там сквозь окровавленный рот, а эти хохотали, но, правда, приглушенно, потому что с

набитыми ртами, и было видно, как вылетают и падают крошки. Такого я не любил – это грязно и неопрятно, а потому сказал:

– Бросьте zhratshku! Я вам этого еще не разрешал. Давайте-ка лучше подержите его как следует, чтобы он все видел и не вырвался. – Они, стало быть, отложили свои припасы и взялись за писателя, у которого очки были уже треснутые, но все еще кое-как держались, а старина Тём продолжал прыгать и скакать, отчего на полочке подпрыгивали всякие безделушки (потом я их все смахнул на пол, чтобы они не тряслись там zgia, пакость этакая), в общем, Тём, прыгая, продолжал шустрить с автором «ЗАВОДНОГО АПЕЛЬСИНА», украшая его morder сиреневыми разводами и вышибая у него из ноздрей вкусно чавкающий черный sok.

– Ладно, horosh, Тём, – сказал я. – Теперь следующий номер, с bogom. – Тём навалился на kisu, которая все еще поскуливала, лихо взял ее в переплет, скрутил руки сзади, а я срывал с нее triapku за triapkoі, те двое похохатывали, и наконец на меня вылупились своими розовыми glazzjami две очень даже tshudnenkije grudi – да, блин, а я, готовясь, уже razdergivalsia. Vjehav, услышал крик боли, а этот писатель hrenov вообще чуть не вырвался, завопил как bezumni, изрыгая ругательства самые страшные из всех, которые были мне известны, и даже придумывая на ходу совершенно новые. После меня была очередь Тёма, и он в обычной своей skotskoі манере с задачей справился, не снимая бесстрастную маску П. Б. Шелли, а я покуда держал kisu. Потом смена составов: мы с Тёмом держим уже ослабевшего и почти не сопротивляющегося писателя, у которого сил только и оставалось, что бормотать nevniatitsu, будто он нахлебался молока с ножами, а Пит с Джорджиком shustriat с kisoі. В общем, мы вроде как otstrelialiss, а все равно, ну вроде как кипит в нас такая ненависть, такая ненависть, и мы пошли все ломать, что было можно, – машинку, торшер, стулья, а Тём (в своем репертуаре) otlil, загасив огонь в камине, и приготовился наделать кучу на ковер, тем более бумажек хватало, но я сказал «нет».

– Ноги-ноги-ноги! – скомандовал я. Писателя и его жены вроде как уже и не было в этом мире, они лежали все в кровище, растерзанные, но звуки подавали. Жить будут.

В общем, залезли мы в поджидавшую нас машину, я, чувствуя себя не совсем в норме, уступил очередь за рулем Джорджику, и мы понеслись обратно в город, давя по дороге всяких визжащих и скулящих мелких zveriuh.

## Глава 3

Мы почти доехали до города, блин, уже вот-вот долж на была показаться Канавы, которая тогда называлась «Индустриальный канал», вдруг смотрим: стрелка указателя топлива вроде как zdohla, подобно тому как свалились к нулю те стрелки, что указывали желание каждого из нас продолжать хохотать и веселиться; двигатель машины забарахлил – kashl-kashl-kashl. Нет, ну ничего страшного, конечно, – неподалеку вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли голубые огни железнодорожной станции, причем совсем рядом. Оставалось решить, бросить ли машину, чтобы ее потом подобрали менты, или, как повелевали нам ненависть и желание крушить и убивать, спихнуть ее в мутные воды и насладиться тем, как она там bullknet, и тем самым завершить вечер. Решили, пусть bullknet, вы шли, отпустили тормоз, вчетвером подкатали ее к краю канавы, где чуть не вровень с краями плавали griazz и kal, потом toltshok – и полетела, родимая. Нам пришлось отскочить, чтобы одежду не забрызгало грязью, но она ничего, нормально пошла: ххрррясь-буль-буль-буль! «Прощай, ненаглядная!» – выкрикнул Джорджик, а Тём присовокупил к этому свой клоунский хохоток. Потом двинулись на станцию – всего-то одна остановка до центра и оставалась. Мы, как pai-malltshiki, купили билеты, дисциплинированно подождали на платформе, где было полно игровых автоматов, с которыми shustril Тём (у него карманы вечно были битком набиты мелочью и всякими шоколадками, чтобы при необходимости umaslivatt бедных и неимущих, хотя таковых на горизонте что-то не наблюдалось), а потом с грохотом подкатил старый «экспресс-рапидо», и мы вошли в вагон поезда, в котором народу ехало очень мало. Чтобы не терять времени даром, все три минуты, за которые поезд доехал до центра, мы shustrili с обивкой кресел (было в те времена такое: кресла, да еще и с мягкой обивкой) – сделали ей полный razdryzg с выпусканьем внутренностей, а старина Тём долго лупил по окну tseppju, пока стекло не треснуло, разлетевшись на зимнем ветру, но что-то мы притомились, приутихли и скисли – удалось все же, блин, кое-какую энергию порастрясти за вечер, и только из Тёма, клоуна неумного, радость так и перла, хоть и был он весь грязный, а уж по?том от него разило за версту – тоже, между прочим, черта, которая мне в нем не нравилась.

В центре мы вышли и медленно двинулись к бару «Korova», уже slegontsa позе-о-о-о-вывая, показывая луне, звездам и уличным фонарям коренные зубы с пломбами: все-таки мы были еще подростки, malltshipalltshiki, и с утра нам надо было в школу, – а когда зашли в «Korovu», народу там было еще больше, чем

когда мы выходили оттуда ранним вечером. Но тот hanurik, который в полном otrube что-то лопотал, накачавшись синтемеском, или чем там он накачался, все еще был на месте и продолжал бормотать: «У дурмопсов туда-сюда инк-стинкт обоняние брым дырыдум...» Это, видимо, у него был третий или четвертый отпад за вечер, потому что он уже приобрел некую нечеловеческую бледность, вроде как стал vestshju, и его лицо было словно изваяно из мела. Вообще-то, если уж захотелось ему так долго болтаться на орбите, надо было сразу занять один из маленьких кабинетиков за перегородкой, а не сидеть в общем зале, потому что здесь кое-кому из malltshikov может прийти в голову slegontsa poshustritt с ним, хотя и не всерьез, поскольку во внутренних помещениях бара всегда сидят здоровенные вышибалы, которые запросто сумеют прекратить любую серьезную zavaruhu. В общем, Тём сел рядом с этим hanurikom, едва втиснув под стол свою клоунскую песочницу, скрывавшую его хозяйство, и изо всех сил треснул того по ноге своим грязным govnodavom. Однако hanurik, блин, ни черта не почувствовал, потому что слишком он витал в облаках.

Кругом большинство были nadtsatyje – shustrili и баловались молочком со всяческой durrju (nadtsatyje – это те, кто раньше назывался тинейджерами), однако были некоторые и постарше, как vekі, так и kisy (но только не буржуи, этих ни одного), сидели у стойки, разговаривали и смеялись. По их стрижкам, да и по одежде (в основном толстые вязаные свитера) было ясно, что это все народ с телевидения – они там за углом на студии что-то репетировали. У kis в их компании лица были очень оживленные, большеротые, ярко покрашенные, kisy весело смеялись, сверкая множеством zubbej и ясно показывая, что на весь окружающий мир им plevatt. Потом был такой момент, когда диск на автоматическом проигрывателе закончился и пошел на замену (то была Джонни Живаго, русская koshka со своей песенкой «Только через день»), и в этом промежутке, в коротком затишье, перед тем как вступит следующая пластинка, одна из тех женщин, kisa лет этак тридцати с большим gakom (белые волосы, rot до ushei) вдруг запела; она и спела-то немножко, всего такта полтора, как бы для примера в связи с тем, о чем они между собой говорили, но мне на миг показалось, блин, будто в бар залетела огромная птица, и все мельчайшие волоски у меня на tele встали дыбом, мурашки побежали вниз и опять вверх, как маленькие ящерики. Потому что музыку я узнал. Она была из оперы Фридриха Гиттерфенстера «Das Bettzeug» – то место, где героиня с перерезанным горлом выпускает дух и говорит что-то типа «может быть, так будет лучше». В общем, меня аж передернуло.

Однако паршивец Тём, сглотив фрагмент арии, будто ломтик горячей сосиски, опять выдал одну из своих пакостей, что на сей раз выразилось в том, что,

сделав пыр-дыр-дыр-дыр губами, он по-собачьи взвыл и дважды ткнул двумя растопыренными пальцами в воздух и разразился дурацким смехом. Меня от его вульгарности прямо в дрожь бросило, кровь кинулась в голову, и я сказал: «Svolotsh! Дубина грязная, vyrodok невоспитанный!» Потом я, перегнувшись через Джорджика, сидевшего между мной и Тёмом, резко ткнул Тёма кулаком в zubbjа. Тёма это чрезвычайно удивило, он даже rot разинул, вытер рукой с губы кровь и с изумлением стал глядеть то на окровавленную руку, то на меня.

– Ты чего это, а? – спросил он с совершенно дурацким видом. Того, что произошло, почти никто не видел, а кто видел, не обратил внимания. Проигрыватель опять вовсю играл, причем какой-то zhutki электронно-эстрадный kaI. Я говорю:

– А того, что ты guboshliop паршивый, не умеющий себя вести и не способный прилично держать себя в обществе, бллин.

Тём напустил на себя злокозненный вид и сказал:

– Ну так и мне, знаешь ли, не всегда нравится то, что ты проделываешь. И я отныне тебе не друг и никогда им не буду.

Он вынул из кармана огромный obsoplivlenni платок и стал вытирать кровяные потеки, озадаченно на него поглядывая, словно думал, что кровь – это у других бывает, только не у него. Он изливал кровь, словно во искупление pakosti, которую сделал, когда та kisa вдруг излила на нас музыку. Но та kisa уже вовсю хохотала со своими koreshami у стойки, сверкая zubbjami и всем своим зазывно размалеванным litsom, явно не заметив допущенной Тёмой грязной вульгарности. Оказывается, это только мне Тём сделал пакость. Я сказал:

– Что ж, если я тебе не нравлюсь, а подчиняться ты не хочешь, тогда ты знаешь, что надо делать, druzhistshe. – Но Джорджик довольно резко, так, что я даже обернулся к нему, проговорил:

– Ладно вам. Kontshiaite.

– А это уж личное дело Тёма, – возразил я. – Не хочет, видите ли, всю жизнь ходить у меня shesterkoi. – И я твердо взглянул на Джорджика. Тём, у которого кровь течь уже переставала, продолжал ворчать:

- Интересно, кто дал ему право приказывать и делать мне toltshok, когда ему вздумается? Я ему beitsy оторву, glazzja tseppju вышибу, тогда будет знать.

- Осторожнее, - сказал я как можно тише, лишь бы слышно было сквозь уханье стереопроектора, которое било в ushi, отдаваясь ото всех стен и потолка; да еще этот, который в otrade, начал пошумливать: «Искра приближается, бутлитыкбум...» И еще я сказал: - Когда хотят жить, такими словами не бросаются, имей в виду!

- Hren тебе, - проговорил Тём, ослабевая. - Большой такой tolsti тебе hren. Не следовало тебе делать то, что ты сделал. В следующий раз выходи лучше с tseppju или britvoi, больше я от тебя такого не стерплю.

- Что ж, ropishemsia, когда скажешь, точи pozh, - рявкнул я в ответ. Тут и Пит подал голос:

- Ну ладно, хватит, заткнитесь оба. Друзья мы или нет, а? Нехорошо, когда друзья начинают tsapattsia. Гляньте, вон patsany какие-то на нас скалятся, прямо rty до ushei. Нельзя так ронять себя.

- Нельзя, - согласился я. - Но Тём должен знать свое mesto. Верно?

- Постой-ка, - удивился Джорджик. - Ну-ка, отсюда поподробнее! Что-то я впервые слышу насчет того, чтобы кому-то нужно было знать свое mesto.

- По правде говоря, Алекс, - поддержал его Пит, - не следовало тебе давать Тёму этот совершенно незаслуженный toltshok. Это сказал я и повторять не буду. Я говорю это с полным уважением, но, если бы это мне он от тебя достался, тебе пришлось бы отвечать. Больше ничего говорить не буду. - И он опустил litso к стакану с молоком.

Я чувствовал, как внутри все вскипает, однако, стараясь скрыть это, заговорил спокойно:

- Кто-то должен быть во главе. Дисциплина необходима. Так или нет? - Никто на это не сказал ни слова, даже не кивнул. Внутренне я вскипел еще больше и еще спокойнее стал внешне. - Признаться, - сказал я, - что-то я давненько уже

руководжу вами. Верно? Так или нет? – Они все слегка покивали, довольно-таки нехотя. Тём оттирал последние следы крови. Он теперь и заговорил:

– Ладно, ладно, *zamniom*. Тарабумбия, сижу на тумбе я. С устатку мы все, видать, немножко *oborzeli*. Больше не говорим об этом. – Меня удивило, даже, пожалуй, слегка испугало то, что Тём заговорил так мудро. А он продолжал: – Щас лучше всего в теплую кроватку, а потому айда по домам. Правильно? – Меня все это до крайности удивляло. Двое других согласно закивали, мол, правильно. Я говорю:

– Про тот *toltsbok*, Тём, ты пойми меня правильно. Это все музыка, понимаешь? Я становлюсь как *bezumni*, когда какая-нибудь *kisa* поет, а ей мешают. Из-за этого и получилось.

– Ладно, все, идем домой, маленькая *sriatshka*, – сказал Тём. – Большим мальчикам надо много спать. Правильно? – «Правильно, правильно», – закивали остальные двое. Я сказал:

– Что ж, я думаю, это лучшее, что мы можем придумать. Тём нам правильную идею *rodkinul*. Если не встретимся днем, бллин, что ж, тогда завтра в тот же час и в том же месте?

– Конечно, – сказал Джорджик. – *Zamiotano*.

– Я, может быть, немного опоздаю, – предупредил Тём. – Но в том же месте, это уж точно. Может, только чуть позже. – Он все еще притрагивался время от времени к губе, хотя крови на ней уже не было. – И будем надеяться, что тут больше всякие *kisy* не будут упражняться в пении. – И он издал свой коронный, так знакомый нам всем клоунский ухающий хохоток: «Ух-ха-ха-ха». Я решил, что он настолько темный, что и обидеться как следует не способен.

В общем, разошлись мы каждый в свою сторону, я шел и все время рыгал от холодной *duri*, которой наглотался. Бритву держал наготове на случай, если вдруг какие-нибудь дружки Биллибоя окажутся поблизости от моего подъезда, да, кстати, и другие *bandy*, *shaiki* и *gruppu* тоже время от времени набегали повоевать друг с дружкой. Жил я с *tatoi* и *rapoi* в микрорайоне муниципальной застройки между Кингсли-авеню и шоссе Вильсонвей, в доме 18а. К двери подъезда я добрался без приключений, хотя пришлось-таки миновать какого-то *malltshika*, который лежал в канаве, корчился и стонал, весь порезанный, и под

фонарем видны были следы крови, будто это сама ночь, poshustriv, напоследок расписалась в своих проделках. А еще совсем рядом с домом 18а я видел пару девчоночьих nizhnih, явно грубо сдернутых в пылу схватки. Короче, вхожу. Стены в коридоре еще при постройке были разрисованы картинами: tsheloveki и kisy при всех своих pritshindalah, очень подробно выписанных, с достоинством трудятся – кто у станка, кто еще как, причем – я повторяю – совершенно безо всякой одежды на их местами очень даже вурукlyh телах. Ну и, конечно же, кое-кто из malltshikov, живущих в доме, на славу потрудился над ними, где карандашом, где шариковой ручкой приукрасив и дополнив упомянутые картины подрисованными к ним всякими торчащими shtutshkami, volosnioi и площадными словами, на манер комиксов якобы вырывающимися изо ртов этих вполне респектабельно трудящихся нагих vekov и zhenstshin. Я подошел к лифту, но нажимать кнопку, чтобы понять, работает ли он, не потребовалось, потому что лифту кто-то только что дал izriadni toltshok, даже двери выворотил в приступе какой-то поистине недюжинной силы, поэтому мне пришлось все десять этажей топтать пешком. Пыхтя и ругаясь, я лез наверх, весьма утомленный физически, хотя голова работала четко. В тот вечер я страшно соскучился по настоящей музыке – может быть, из-за той kisy в баре «Korova». Перед тем как на въезде в зону сна мне проштемпелюют паспорт и приподнимут полосатый shest, мне хотелось еще успеть как следует ею насладиться.

Своим ключом я отпер дверь квартиры 10—8, в маленькой передней меня встретила тишина, па и ма уже оба десятый сон видели, но перед сном мама оставила мне на столе ужин – пару ломтиков дрянной консервной ветчины и хлеб с маслом, а также стакан доброго старого холодного молока. О-хо-хо, молоко-молочишко, без ножей, без синтемеска и дренкрома! До чего же злокозненным будет всегда теперь казаться мне обычное безобидное молоко! Однако я выпил его и яростно все sozhral! – оказывается, я был куда голоднее, чем самому казалось; из хлебницы достал фруктовый пирог и, отрывая от него куски, принялся запихивать их в свой ненасытный rot. Потом я почистил зубы и, цокая языком, чтобы добыть остатки zhratshki из дыр в zubbjah, поплелся в свою комнату, на ходу раздеваясь. Здесь была моя кровать и стереоустановка, гордость и отрада моей zhizni, здесь хранились в шкафу мои диски, на стенах красовались плакаты и флаги, напоминавшие о жизни в исправительной школе, куда я попал одиннадцати лет, – да, блин, – и на каждом какая-нибудь надпись, какая-нибудь памятная цифирь: «ЮГ-4»; «ГОЛУБАЯ ДИВИЗИЯ ГЛАВНОЙ ИСПРАВШКОЛЫ»; «ОТЛИЧНИКУ УЧЕБЫ».

Портативные динамики моей установки расположены были по всей комнате: на стенах, на потолке, на полу, так что, слушая в постели музыку, я словно витал

посреди оркестра. Первое, что мне в ту ночь придумалось, это послушать новый концерт для скрипки с оркестром Джеффри Плаутуса в исполнении Одиссеуса Чурилоса с филармоническим оркестром штата Джорджия; я достал пластинку с полки, где они у меня аккуратно хранились, включил и подождал.

Вот оно, блин, вот где настоящий prihod! Блаженство, истинное небесное блаженство. Обнаженный, я лежал поверх одеяла, заложив руки за голову, закрыв глаза, блаженно приоткрыв rot, и слушал, как плывут божественные звуки. Само великолепиие в них обретало plott, становилось телесным и осязаемым. Золотые струи изливались из тромбонов под кроватью; где-то за головой, трехструйные, искрились пламенные трубы; у двери рокотали ударные, прокатываясь прямо по мне, по всему нутру, и снова отдаваясь, треща, как игрушечный гром. О, чудо из чудес! И вот, как птица, вытканная из неземных, тончайших серебристых нитей, или как серебристое вино, льющееся из космической ракеты, вступила, отрицая всякую гравитацию, скрипка соло, сразу возвысившись над всеми другими струнными, которые будто шелковой сетью сплелись над моей кроватью. Потом ворвались флейта с гобоем, ввинтились, словно платиновые черви в сладчайшую изобильную plott из золота и серебра. Невероятнейшее наслаждение, блин. Па и ма в своей спальне по соседству уже привыкли и отучились стучать мне в стену, жалуясь на то, что у них называлось «шум». Я их хорошо вымуштровал. Сейчас они примут снотворное. А может, зная о моем пристрастии к музыке по ночам, они его уже приняли. Слушая, я держал glazzja плотно закрытыми, чтобы не spugnutt наслаждение, которое было куда слаще всякого там бога, рая, синтемеса и всего прочего, – такие меня при этом посещали видения. Я видел, как veki и kisy, молодые и старые, валяются на земле, моля о пощаде, а я в ответ лишь смеюсь всем rotom и kurotshu сапогом их litsa. Вдоль стен – devotshki, растерзанные и плачущие, а я zasazhivaju в одну, в другую, и, конечно же, когда музыка в первой части концерта взмыла к вершине высочайшей башни, я, как был, лежа на спине с закинутыми за голову руками и плотно прикрытыми glazzjami, не выдержал и с криком «а-а-а-ах» выбрызнул из себя наслаждение. Потом прекрасная музыка, подступая все ближе, пошла плавно снижаться. После этого был чудный Моцарт, «Юпитер», и снова разные картины, litsa, которые я терзал и kurotshil, а уже затем надумалось поставить напоследок, на самой границе сна, завершающий диск, что-нибудь мощное, старое и zaboinoje, и я вынул И. С. Баха, «Бранденбургский концерт» для альта и виолончели. Слушая его с наслаждением теперь совсем другого рода, я вновь увидел то название на листе, которому я сделал razdruzg нынче вечером, уже, казалось, давным-давно, в коттеджике под названием «ДОМ». Что-то про заводной апельсин. Под звуки И. С. Баха я стал гораздо лучше ponimatt, что это название значит; коричневая, охряная роскошь аккордов старого мастера

раскрыла мне глаза на то, что мне бы следовало их обоих toltshoknutt куда серьезней, разорвать их на части и растоптать в пыль на полу их же собственного дома.

## Глава 4

Наутро я проснулся еле-еле – о-хо-хо, блин, восемь часов уже! – проснулся, чувствуя себя так, будто меня били, колотили и не давали опомниться; glazzja неодолимо слипались, и я решил в школу не ходить. Решил malencko понежиться в постели – скажем, часик-другой, потом с ленцой одеться, поплескавшись, быть может, сперва в ванне, поджарить себе тосты, послушать радио или почитать газету в полном своем odi notshestve. А уж потом, если возникнет такое мое желание, после большой перемены можно и в школу наведаться, глянуть, что там prohodiat в великом храме бессмысленного учения. Мне было слышно, как возится, ворчит и шаркает в прихожей rarara, уходя работать на свой химзавод, а потом подала голос мама; очень вежливым тоном, который она усвоила с тех пор, как я стал большой и сильный, она напомнила:

– Уже девятый час, сынок. Ты ведь не хочешь снова опаздывать?

Я ей в ответ:

– Что-то голова побаливает. Посплю tshutok – может, пройдет, а после полдника точно пойду, как shtyk. – Послышался ее вздох и тихий голос:

– Завтрак на плите. Мне самой уже идти надо.

Что верно, то верно, особенно в связи с законом о том, чтобы каждый взрослый здоровый гражданин трудился на благо общества. Мама у меня работала в одном из так называемых госмагов, где она расставляла на полках консервированные супы, овощи и всякий прочий kal. Короче, я слушал, как она звякнула кастрюлей, ставя ее в духовку газовой плиты, потом надевала туфли, снимала с вешалки за дверью пальто, и, снова вздохнув, она сказала: «Все, ухожу, сынок». Но тут я отплыл обратно в страну снов и vydryhsia, надо сказать, отменно, причем снился мне очень странный и явственный сон, почему-то про

моего друга Джорджика. Во сне он был гораздо старше, был очень строг, суров, говорил о дисциплине и послушании, требовал, чтобы все подчиненные ему malltshiki беспрекословно повиновались приказам и отдавали честь, как в армии, а я стоял с остальными вместе в одном строю и отвечал «да, сэр» и «нет, сэр», а потом заметил, что у Джорджика на плечах звезды и он вроде как генерал. Потом по его вызову появился balbesina Тём с хлыстом в руке, Тём тоже был какой-то старый и седой, у него даже несколько zubbjev не хватало (я заметил это, когда он, увидев меня, усмехнулся), и тут Джорджик, мой старый drug Джорджик, сказал, указывая на меня: «У этого века на одежде грязь и kal» – и это было правдой. Тогда я закричал: «Не бейте меня, bratsy, пожалуйста, не бейте», – и бросился бежать. Я бегал от них как-то кругами, Тём настигал, хохоча во всю глотку и щелкая своим хлыстом, удар которого прожигал меня каждый раз до нутра, и одновременно еще раздавался какой-то звон, словно электрического звонка – ззынь-зынь-зынь, – и этот звон тоже отдавался болью.

Потом я внезапно проснулся, сердце в груди бухало, и, конечно же, действительно звонил звонок – ддррррр, это звонили в дверь. Я сделал вид, будто никого нет дома, но этот ддррррр не унимался, а потом сквозь дверь донесся голос: «Давай-давай, вылазь, нечего, я знаю, что ты в кровати». Голос я сразу же узнал. Это был П. Р. Дельтоид (из мусоров, и притом dugenn), он был назначен моим «наставником по перевоспитанию» – заезженный такой kashka, у которого таких, как я, было несколько сот. Я закричал «да-да-да», голосом как бы больным, вылез из кровати и привел себя в порядок. Халатец у меня был – это, блин, vastshe! – натурального шелка и такими еще узорами изу крашен наподобие городских пейзажей. Сунул ноги в удобные войлочные тапочки, причесал роскошные кудри и тогда уже впустил П. Р. Дельтоида. Открыл дверь, и он вошел, весь какой-то потрепанный, походка шаркающая, на голове бесформенная shliara, плащ грязный.

– Ах, Алекс, Алекс, – заговорил он. – Кстати, я по дороге встретил твою мать. Она сказала, что у тебя вроде болит что-то. Стало быть, в школу не пошел?

– Ужасная, непереносимая головная боль, koresh, то есть сэр, – сказал я своим самым вежливым тоном. – Думаю, к обеду, может, пройдет.

– А к вечеру так уж просто непременно, – отозвался П. Р. Дельтоид. – Вечер – замечательное время, не правда ли, Алекс? Садись, – сказал он, – садись, садись, – словно он был у себя дома, а я у него в гостях. Сам уселся в старое отцовское кресло-качалку и принялся раскачиваться, словно за этим только и

пришел. Я говорю:

– Может, potshifirijem? В смысле, чашечку чаю, сэр?

– Я спешу, – ответил он. И продолжал качаться, посверкивая на меня глазами из-под нахмуренных бровей, словно в запасе у него целая вечность. – Я спешу, – повторил этот durenn, – хотя давай. – Я поставил на плиту чайник. Потом говорю:

– Чем я обязан столь редкостному удовольствию? Что-нибудь случилось, сэр?

– Случилось? – каким-то коварным тоном чересчур быстро переспросил он, глядя на меня исподлобья, но продолжая качаться. Потом ему на глаза попала реклама в газете, лежавшей на столе, – симпатичная молоденькая kisa глядела, усмехаясь и вывесив на всеобщее обозрение свои grudi, символизирующие прелести югославских пляжей. Потом, словно бы rozhrav ее в два приема, он продолжал: – А почему ты думаешь, что непременно что-нибудь случилось? Сотворил что-нибудь, или как?

– Да это я так просто, из вежливости, – сказал я. И добавил: – Сэр.

– Гм, – промычал П. Р. Дельтоид. – А я вот из вежливости предупреждаю тебя, Алекс, чтобы ты поостерегся, потому что следующий раз тебе уже не исправительная школа светит. За решетку попадешь, и вся моя работа насмарку. Если тебе на себя, паршивца, плевать, мог бы хоть обо мне немного подумать, ведь столько сил в тебя вбито! Мне за каждое поражение большую черную отметину ставят (это я тебе по секрету говорю) – за каждого, кто кончит в тюрьме.

– Я ничего такого не сделал, сэр, – ответил я. – У милисентов на меня ничего нет, koresh, то есть, в смысле, сэр.

– Ты мне это брось, насчет милисентов, – устало процедил П. Р. Дельтоид, продолжая раскачиваться. – То, что тебя давно не задерживала полиция, еще не значит, как ты сам прекрасно знаешь, что ты никаких гадостей не устраивал. Вчера вот драчка какая-то была, так или нет? С ножами, велосипедными цепями и так далее. Один приятель некоего толстого парня госпитализирован, его подобрала «скорая» около подстанции, весьма и весьма пакостно обработанного ножами, н-да. Поминали тебя. До меня это по обычным каналам дошло. Кое-кого

из твоих дружков тоже упоминали. Вообще вчера вечером совершенно довольно много отборных пакостей. Ну естественно, никто ни о ком ничего толком доказать не может, это как обычно. Но я предупреждаю тебя, Алекс, малыш, как добрый друг тебя предупреждаю, как единственный в этом подлом и гнилом районе человек, который хочет спасти тебя от тебя самого.

– Я ценю вашу заботу, сэра, – сказал я, – честно, очень ценю.

– Ага, ты ценишь, конечно. – На его лице появилось подобие ухмылки. – Смотри у меня, смотри в оба... н-да. Мы знаем больше, чем ты думаешь, Алекс. – Потом он сказал тоном глубочайшего страдания, но все еще продолжая качаться: – И что на вас на всех нашло? Мы эту проблему изучаем, изучаем, уже чуть ли не целый век изучаем, н-да, но ни к чему все это изучение не приводит. У тебя здоровая обстановка в семье, хорошие любящие родители, да и с мозгами вроде бы все в порядке. В тебя что, бес вселился, что ли?

– Ни у кого на меня ничего нет, сэра, – повторил я. – К милисентам я давно не попадал.

– Это меня и беспокоит, – вздохнул П. Р. Дельтоид. – Слишком давно, не к добру это. Сейчас бы как раз самое время. Потому я и предупреждаю тебя, Алекс, чтобы ты держал свой юный миловидный хоботок подальше от всякой мути... н-да. Я достаточно ясно выразился?

– Как ясное, незамутненное озеро, сэра, – сказал я. – Как лазурное небо ясным днем в разгар лета. Вы можете на меня положиться, сэра. – И я одарил его любезнейшей zubastoi улыбкой.

Но когда он встал, чтобы уйти, а я как раз заваривал крепкий чай, я даже усмехнулся себе под нос над тем, какая glupostt волнует П. Р. Дельтоида и всю его дельтовидную ratt. Ну хорошо, я плохой, я делаю весь этот toltslionking, krasting britvoi балуюсь и добрым старым sunn-vynn, так что, если меня поймают, мало мне не покажется, блин, ибо, ясное дело, нельзя допускать, чтобы каждый вел себя по ночам, как я. В общем, если меня поймают (сперва три месяца, потом шесть, и, наконец, как дружески предупредил П. Р. Дельтоид, несмотря на блаженное малолетство, долгая-долгая propiska в клетке поганейшего зверинца), ничего, ладно, я им скажу тогда: «Все правильно, начальнички, а все ж таки помилосердствуйте, потому что жить взаперти я

просто не способен. Зато в будущем, которое потом когда-нибудь все равно ведь раскроет мне свои снежно-белые лилейные объятия (пока не наткнушь на pozh или не взметнется последним судорожным выбрызгом кровь среди искореженного металла и битого стекла на шоссе), в этом прекрасном будущем все мои усилия, все старания будут направлены на одно: только бы больше не vlipnutt». И это будет как минимум честно. Но больше всего веселило меня, бллин, то усердие, с которым они, грызя ногти на пальцах ног, пытаются докопаться до причины того, почему я такой плохой. Почему люди хорошие, они до знаться не пытаются, а тут такое рвение! Хорошие люди те, которым это нравится, причем я никоим образом не лишаю их этого удовольствия, и точно так же насчет плохих. У тех своя компания, у этих своя. Более того, когда человек плохой, это просто свойство его природы, его личности – моей, твоей, его, каждого в своем odi notshestve, – а природу эту сотворил бог, или gog, или кто угодно в великом акте радостного творения. Неличность не может смириться с тем, что у кого-то эта самая личность плохая, в том смысле, что правительство, судьи и школы не могут позволить нам быть плохими, потому что они не могут позволить нам быть личностями. Да и не вся ли наша современная история, бллин, это история борьбы маленьких храбрых личностей против огромной машины? Я это серьезно, бллин, совершенно серьезно. Но то, что я делаю, я делаю потом у, что мне нравится это делать.

И вот теперь, улыбчивым зимним утром, я пью крепчайший tshai с молоком, добавляя туда ложку за ложкой сахар (люблю сладенькое), а потом вытаскиваю из духовки завтрак, который моя бедная старушка мама мне сготовила. Она оставила яичницу из одного яйца – всего-навсего, – но я поджарил себе тост и съел яичницу с тостом и джемом, чавкая и причмокивая над газетой, которую заодно читал. Газета была, по обыкновению, полна описаний всевозможного насилия, ограблений банков, забастовок, упоминалось также о том, что футболисты повергли всех в шок, пригрозив отменить матч в следующую субботу, если им не прибавят жалованье, – экие ведь противные huligantshiki! Еще там говорилось о новых полетах в космос, увеличении экранов стерео-ТВ и о том, что если пришлешь им сколько-то там этикеток от жестянок с супами, то получишь бесплатно пакет мыльных хлопьев – поразительная щедрость, от которой меня разобрал смех. Дальше шла большая статья о современной молодежи (обо мне, значит, и я даже отвесил газете поклон, ухмыляясь, как bezumni); статью написал какой-то умный лысый rarik. Я внимательно ее читал, прихлебывая tshajok, чашку за чашкой, и хрустя ломтиками черного тоста, намазанного джемом и накрытого яичницей. Этот ученый rarik ничего нового не говорил, все как обычно: об отсутствии родительской дисциплины (его термин), нехватке приличных, нормальных учителей, которые вышибли бы дурь из

неразумных недорослей, заставив их, рыдая, просить прощения. Все это была сплошная *turnia*, от которой меня разбирал смех, однако приятно было знать, что мы продолжаем быть притчей во языцех, блин. Каждый день в газете было что-нибудь про современную молодежь, но лучшую *vestsh* написал какой-то старый рор в воротнике наподобие собачьего ошейника, причем писал он, якобы все обдумав, да еще и как человек божий: ДЬЯВОЛ ПРИХОДИТ ИЗВНЕ, извне он внедряется в наших невинных юношей, а ответственность за это несет мир взрослых – войны, бомбы и всякий прочий *ka!*. Что ж, это нормально. Видимо, он знает, что говорит, этот человек божий. Стало быть, нас, юных невинных *maltshipalltshikov*, и винить нельзя. Это хорошо, это правильно.

Пару раз с детской непосредственностью сыто икнув, я принялся вынимать из шкафа свой будничный костюм, предварительно включив радио. Передавали музыку, очень даже приличный струнный квартет Клаудиуса Бёрдмана, *vestsh*, которую я хорошо знал. Не выдержав, я еще раз усмехнулся по поводу того, что прочитал в одной из таких статей про современную молодежь, – насчет того, что эта самая молодежь была бы куда как лучше, если бы ей прививался живой интерес к искусствам. Великая Музыка, говорилось в ней, и Великая Поэзия усмирили бы современную молодежь, сделав ее более цивилизованной. Цивилизуй мои сифилизованные *beitsy*. Что касается музыки, то она как раз все во мне всегда обостряла, давала мне почувствовать себя равным богу, готовым метать громы и молнии, терзая *kis* и *vekov*, рыдающих в моей – ха-ха-ха – безраздельной власти. А потом, слегка плеснув водой в *litso* и на руки и одевшись (будничный мой костюм был чисто ученического толка: синенькие брючата и свитер с буквой А, потому что Алекс), я подумал, что наконец-то у меня есть время сходить в магазин пластинок (кстати, не только время: *babok* в карманах полно), чтобы спросить насчет давно обещанной и давно заказанной пластинки с записью Девятой (она же Хоральная) симфонии Бетховена (фирма «Мастер-строук», дирижер Л. Мухайвир). Туда я и отправился.

Днем все не так, как вечером и ночью. Ночь принадлежит мне, моим *koresham* и всем прочим *nadtsatym*, а всякие старые буржуи в это время прячутся по домам, *baldejut* под глупый *telik*, зато днем вылезают, день – время *stari kashek*, да и ментов днем на улицах куда больше. Я сел на углу в автобус, доехал до центра, а потом чуть вернулся к Тэйлор-плейс, где находился любезный моему утонченному сердцу магазин грампластинок. Н-да. Название у него было глуповатое: «Melodija», но дело там знали, работали быстро, и там, как правило, проще всего было доставать новые записи. Войдя, я увидел, что покупателей в магазине почти нет, за исключением двух юненьких *kisok*, которые, не переставая лизать мороженое (это зимой-то, в такую холодину, бррр!), копались

в каталоге новинок поп-музыки – Джонни Бёрневей, Стас Крох, «Зе Миксерз», «Полежи чуток с Эжиком», Ид Молотов и тому подобный kaI. Kiskam было лет по десять, не больше; они, видать, тоже вроде меня решили школу в тот день zadvinutt. Самим себе они виделись вполне взрослыми девушками, это было заметно: крутеж рораті при виде вашего покорного слуги, поддельные grudi и намазанные красным gubiohi. Я подошел к стойке, лучезарно улыбнулся старине Энди, который в тот день стоял за прилавком (obaldenni был тип, кстати: сам всегда вежливый, всегда поможет, очень хороший vek, разве что лысый и дико тощ). Он заговорил первым:

– А! Кажется, знаю, чего ты хочешь. Могу порадовать, получили. – И, отмахивая своими дирижерскими ручищами такт шагам, пошел в подсобку. Две мелкие kiski принялись хихикать, как у них в этом возрасте принято, а я окинул их холодным взглядом. Энди мигом вернулся, поигрывая глянцевым белым конвертом с Девятой, а на конверте-то, блин, еще и портрет – хмурое, с яростно сдвинутыми бровями лицо самого Людвига вана.

– Вот, – сказал Энди. – Дорожку проверять будем? – Но мне хотелось поскорей унести ее домой, поставить на свой аппарат и в odi notshestve слушать, упиваясь каждым звуком. Я вынул deng заплатить, и тут одна из kisk сказала:

– И кто это к нам пришел? И чем это он обарахлился? – У мелких kisk была своя манера govoriting. – Кто у тебя в прихвате, папик? «Хевен Севентин» Люк Стерн? «Гоголь-Моголь»? – И обе захихикали, вихляя рораті. Тут вдруг мне пришла идея, я прямо что чуть в осадок не выпал от пронзительного предвкушения, да, блин, я аждохнуть не мог секунд десять. Пришел в себя, ощерил свои недавночищенные zubbja и говорю:

– Что, сестрички, оттягиваетесь пилить диск на скрипучей телеге? – А я уже заметил, что пластинки, которые они накупили, сплошь был всяческий nadtsatyi kaI. – Наверняка же у вас какие-нибудь портативные fuflovuje крутилки. – В ответ на это они только горестно выпятили нижние губки. – Дядя щас добрый, – сказал я, – дядя даст вам их послушать putiom. Услышите ангельские трубы и дьявольские тромбоны. Вас приглашают. – Я вроде как поклонился. Они опять похихикали, а одна сказала:

– Да-а, а мы е-есть хотим! Сперва хотим где-нибудь покушать!

Вторая жеманно присовокупила:

– Хи, ей бы только zhratt, смотри не лопни!

А я в ответ:

– Дядя dobberi, дядя накормит. Куда пойдём?

Тут они вообразили себя светскими дамами, что вы глядело довольно-таки жалко, и принялись поминать манерными голосишками названия типа «Ритц», «Бристоль», «Хилтон», а также «Иль Ресторанте Гран-Турко». Это я быстренько пресек, сказав: «Слушаться дядю, пошли!» – и привел их в соседнюю пиццерию, где они принялись otjedatt свои юные щечки, поглощая спагетти, сосиски, крем-брюле, сушеные бананы и шоколадный мусс, пока меня уже чуть не затошнило от этого зрелища: я-то ведь, блин, позавтракал едва-едва, всего каким-нибудь кусочком ветчины с кетчупом да яичницей. Две эти kiski были очень друг на дружку похожи, хотя и не сестры. Одинаковые мысли (вернее, отсутствие таковых), одинаковые волосы – что-то вроде крашеной соломы. Что ж, сегодня им предстоит здорово повзрослеть. Ох, vezuha! Нет, ну, конечно, никакой школы сегодня в помине быть не может, а вот ученье будет, причем Алекс выступит учителем. Назвались они Марточкой и Сонеточкой, что было, разумеется, чистой brehniói, зато звучало в их детском воображении diko элегантно. Я им говорю:

– Ладно, Марточка-Сонеточка, hogosh питаться. Пошли, крутнем диски. Ноги-ноги-ноги!

Выйдя на холодную улицу, они решили, что автобус – это им не в kaif, им нужна tatshka, так что пришлось оказать им такую честь, внутренне при этом diko потешаясь. Я подозвал такси со стоянки на площади. Шофер, stari усаый kashka в замызганном костюме, предупредил:

– Только чтоб сиденья не драли. Они у меня новые, только что обивку менял. – Я развеял его глупые страхи, и покатали мы в сторону дома, причем храбрые kiski непрестанно хихикали и шептались. Короче, прибыли, я шел по лестнице впереди, они, пыхтя и похихикивая, спешили за мной, потом их обуяла жажда, в комнате я отпер один хитрый ящичек и налил своим десятилетним невестам по изрядной порции виски, хотя и разбавленного должным образом содовой шипучкой. Они сидели на моей кровати (все еще неубранной), болтали ногами и

тянули свои коктейли, пока я прокручивал им на своем стерео жалкое их fuflo. Крутить на нем такое – это было все равно что хлебать сладковатую кашу детского питания из драгоценных, прекрасной работы золотых кубков. Однако они ахали, baldeli и только выдыхали временами «pisets», или «montana», или еще какое-нибудь из идиотских словечек, которые тогда были в моде у этой возрастной группы. Проигрывая для них этот kal, я то и дело напоминал им, чтобы пили, наливал еще, и они, блин, надо сказать, не отказывались. Так что к тому времени, когда их жалкенькие пластиночки прокрутились каждая по два раза (а их всего было две: «Медонос»

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://tellnovel.me/entoni-byordzhess/zavodnoy-apelsin-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)